

Марк Блок

**Апология истории или
ремесло историка**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
М26

М26 **Марк Блок**
Апология истории или ремесло историка / Марк Блок – М.: Книга по Требо-
ванию, 2013. – 256 с.

ISBN 978-5-458-41483-8

ISBN 978-5-458-41483-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИЛИ РЕМЕСЛО ИСТОРИКА

Памяти моей матери-друга

ЛЮСЬЕНУ ФЕВРУ¹

вместо посвящения

Если эта книга когда-нибудь выйдет в свет, если она из простого противоядия, в котором я среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных, пытаюсь найти немного душевного спокойствия, превратится когда-нибудь в настоящую книгу, книгу для читателей,— на ее титульном листе, мой дорогой друг, будет стоять другое, не Ваше имя. Вы поймете, что это имя будет на своем месте — единственное упоминание, которое может позволить себе нежность, настолько глубокая и священная, что ее словами не высказать. Но могу ли я примириться с тем, чтобы Ваше имя появлялось здесь только случайно, в каких-то ссылках? Долгое время мы вместе боролись за то, чтобы история была более широкой и гуманной. Теперь, когда я это пишу, общее наше дело подвергается многим опасностям. Не по нашей вине. Мы — временно побежденные несправедливой судьбой. Все же, я уверен, настанет день, когда наше сотрудничество сможет полностью возобновиться, как в прошлом, открыто и, как в прошлом, свободно². А пока я со своей стороны буду продолжать его на этих страницах, где все полно Вами. Я постараюсь сохранить присущий ему строй — в глубине согласие, оживляемое на поверхности поучительной игрой наших дружеских споров. Среди идей, которые я намерен отстаивать, не одна идет прямо от Вас. О многих других я и сам, по совести, не знаю, Ваши они, или мои, или же принадлежат нам обоим. Надеюсь, что многое Вы одобрите. Порой, возможно, будете читать с удовольствием. И все это свяжет нас еще крепче.

Фужер (Деп. Крез). 10 мая 1941.

ВВЕДЕНИЕ

«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга — мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. Однако такая высокая простота — привилегия немногих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью любознательность я, возможно, не сумел полностью удовлетворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-кто, наверняка, сочтет такую формулировку наивной. Мне же, напротив, она кажется совершенно уместной*. Проблема, которая в ней поставлена с озадачивающей прямоотой детского возраста, это ни мало, ни много — проблема целесообразности, оправданности исторической науки.

Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу западную цивилизацию.

Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все — и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами. Христианство — религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают — наряду с эпизодами земной жизни бога — события из истории церкви и святых. Христианство исторично еще и в другом смысле, быть может, более глубоко: судьба человечества — от грехопадения до Страшного суда — предстает в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное «паломничество» является в свою очередь отражением; центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления, разворачивается во времени, т. е. в истории. Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого; с уст наших деятелей не сходят поучительные

* Звездочкой отмечены места, комментарии к которым написаны самим М. Блоком.

примеры из истории, действительные или мнимые. Наверное, здесь следовало бы выделить различные оттенки в групповой психологии. Курно давно отметил: французы, всегда склонные воссоздавать картину мира по схемам разума, в большинстве предаются своим коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, чем, например, немцы*. Несомненно также, что цивилизации меняют свой облик. В принципе не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями.

В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая непрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам. В разгаре драмы я совершенно случайно услышал его эхо. Это было в июне 1940 г., в день — я хорошо помню — вступления немцев в Париж. В нормандском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в праздности, мы перебирали причины катастрофы: «Надо ли думать, что история нас обманула?» — пробормотал кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горько, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо ответить и тому, и другому.

Впрочем, надо еще установить, что означает слово «нужна». Но прежде, чем перейти к анализу, я должен попросить извинения у читателей. Условия моей нынешней жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнительное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей профессии, практику которой я намерен описать, слишком часто для меня недоступны. Удается ли мне когда-нибудь восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удастся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал бы, что прошу «учесть обстоятельства», если бы это не означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на себя вину за судьбу.

* * *

В самом деле, если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна. Или, точнее, — ибо всякий ищет себе развлечения,

где ему вздумается, — что она, несомненно, кажется увлекательной большому числу людей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда была чрезвычайно увлекательна. Как для всех историков, я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профессию? Для всякого человека, если он не круглый дурак, все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятней всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием.

Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе привлечь наше внимание.

Роль этой привлекательности — вначале как зародыша, затем как стимула — была и остается основной. Жажде знаний предшествует простое наслаждение; научному труду с полным сознанием своих целей — ведущий к нему инстинкт; эволюция нашего интеллекта изобилует переходами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». Мы также знаем, что маленькие радости коллекционирования древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и, ближе к нашему времени, фольклористики. Читатели Александра Дюма — это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировок, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности.

С другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив, — все настоящие историки могут это подтвердить — наслаждение становится еще более живым и полным; здесь нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженнейшей умственной работы. Истории, однако присущи ее собственные эстетические радости, непохожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение. Особенно тогда, когда удаленность во времени и пространстве окрашивает эту деятельность в необычные тона. Сам великий Лейбниц признался в этом: когда от абстрактных спекуляций в области математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или старинных хроник имперской Германии, он испытывал, совсем как мы, это «наслаждение от познания удивительных вещей». Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум.

И все же если бы история, к которой нас влечет эта осязаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпрепровождением, вроде

бриджа или рыбной ловли, стоила ли бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее писать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, насколько возможно, неявные мотивы, — следовательно, с затратой немалых усилий. Игры, писал Андре Жид, ныне для нас уже невозможны, кроме, добавил он, игры ума. Это было сказано в 1938 г. В 1942 г., когда пишу я, каким дополнительным тягостным смыслом наполняется эта фраза! Что говорить, в мире, который недавно проник в строение атома и только начинает прощупывать тайну звездных пространств, в нашем бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные детали исторической эрудиции, способные поглотить целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступное расточительство сил, если бы в результате мы всего лишь приукрашивали крохами истины одно из наших развлечений. Либо надо рекомендовать не заниматься историей людям, чьи умственные способности могут быть с большей пользой применены в другой области, либо пусть история докажет свою научную состоятельность.

Но тут возникает новый вопрос: что же, собственно, является оправданием умственных усилий?

Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать, вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность исследования — в любом предмете и ради любого предмета — измеряется тем, насколько оно может быть практически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее — самые абстрактные, на первый взгляд, умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Но, кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благодеянии, утоления интеллектуального голода — означало бы нелепым образом изувечить человеческий дух. Пусть homo faber^а или politician^б всегда будут безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития homo sapiens^в. Но даже при таком ограничении вопрос еще полностью не разрешен.

Ибо наш ум по природе своей гораздо меньше стремится узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными науками он признает лишь те, которым удается установить между явлениями логические связи. Все прочее, по выражению Мальбранша, — это только «всезнайство» («полиматия»). Но всезнайство может, самое большее, быть родом развлечения или же манией; в наши дни, как и во времена Мальбранша, его не признают достойным игры ума занятием. А значит, история, независимо от ее практи-

^а человек-мастер (лат.).

^б человек политический (лат.).

^в человек разумный (лат.).

ческой полезности, вправе тогда требовать себе место среди наук, достойных умственного усилия, — лишь в той мере, в какой она сулит нам вместо простого перечисления, бессвязного и почти безграничного, явлений и событий, дать их некую разумную классификацию и сделать более понятными.

Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет — это человек и его действия? В самом деле, извечная склонность, подобная инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она служила руководством для наших действий, а потом мы негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи слова я привел выше, если история, как нам кажется, обнаруживает свою несостоятельность, не может дать нам указаний. Проблему пользы истории — в узком, прагматическом смысле слова «полезный» — не надо смешивать с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности. Ведь проблема пользы может тут возникнуть только во вторую очередь: чтобы поступать разумно, разве не надо сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на самые настойчивые возражения здравого смысла, проблеме пользы нельзя просто обойти.

На эти вопросы, правда, некоторые из наших наставников или тех, кто претендует на эту роль, уже ответили. Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисходительные сказали: история бесполезна и бесосновательна. Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, решили: история вредна. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», — выразился один из них, причем человек известный¹. Таким приговорам присуща сомнительная привлекательность: они заранее оправдывают невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна.

Но если нам предстоит пересмотр дела, надо для этого располагать более определенными данными. Ибо есть одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали заурядные хулители истории. В их суждениях немало красноречия и ума, но они по большей части не удосужились точно узнать, о чем рассуждают. Картину наших научных занятий они рисуют не с натуры. От нее отдает скорее риторикой Академии, чем атмосферой рабочего кабинета. А главное — она устарела. В результате весь этот ораторский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы в этой книге постараемся поступать иначе. Методы, чью основательность мы попробуем взвесить, будут теми же, что реально применяются в исследовании, вплоть до мелких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставит перед историком его предмет. Короче, мы же-

лаем прежде всего рассказать, как и почему историк занимается своим делом. А уж потом пусть читатель сам решает, стоит ли им заниматься.

Однако будем осторожны. Задача наша, даже при таком понимании и ограничении, лишь с виду может показаться простой. Возможно, она была бы проста, имей мы дело с одним из прикладных искусств, о которых нетрудно дать полное представление, перечислив один за другим все проверенные временем приемы. Но история — не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она — стремление к лучшему пониманию, следовательно — нечто, пребывающее в движении. Ограничиться описанием нынешнего состояния науки — это в какой-то мере подвести ее. Важнее рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на каждом ее этапе пронизывают разные тенденции, которые невозможно отделить одну от другой без некоего предвосхищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. В области духовной жизни не менее, чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит. Но надо быть честным и предупредить читателя.

Кроме того, неминуемо возникающие трудности при изучении методов зависят от того, какой точки на кривой своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в данный момент рассматриваемая дисциплина. Лет пятьдесят назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить всю механику с точностью технического чертежа. А история еще находится в фазе, куда более благоприятной для уверенных суждений.

Ибо история — не только наука, находящаяся в развитии. Это наука, переживающая детство, — как все науки, чьим предметом является человеческий дух, этот запоздалый гость в области рационального познания. Или, лучше сказать: состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще долгие прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным, как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в прошлое дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутинности учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать. Вот почему Фюстель де Куланж и до него Бейль, вероятно, были не совсем неправы, называя историю «самой трудной из всех наук».

Но не заблуждение ли это? Как ни туманен во многих отношениях наш путь, мы в настоящее время, — думается мне, находимся в лучшем положении, чем наши прямые предшественники, и видим несколько ясней.

Поколения последних десятилетий XIX и первых лет XX века жили, как бы замороженные очень негибкой, поистине контовской схемой мира естественных наук². Распространяя эту чудодейственную схему на всю совокупность духовных богатств, они полагали, что настоящая наука должна приводить путем неопровержимых доказательств к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов. То было убеждение почти всеобщее. Но, примененное к исследованиям историческим, оно породило — в зависимости от характера ученых — две противоположные тенденции.

Одни действительно считали возможной науку об эволюции человечества, которая согласовалась бы с этим, так сказать, «всенаучным» идеалом, и не щадя сил трудились над ее созданием. Причем они сознательно шли на то, чтобы оставить за пределами этой науки о людях многие реальные факты весьма человеческого свойства, которые, однако, казались им абсолютно не поддающимися рациональному познанию. Этот осадок они презрительно именовали «происшествием», сюда же относили они большую часть жизни индивидуума — интимно личную. Такова была, в общем, позиция социологической школы, основанной Дюркгеймом³. (По крайней мере, если не принимать во внимание смягчения, постепенно привнесенные в первоначальную жесткость принципов людьми слишком разумными, чтобы — пусть невольно — не поддаться давлению реальности.) Наша наука многим ей обязана. Она научила нас анализировать более глубоко, ограничивать проблемы более строго, я бы даже сказал, мыслить не так упрощенно. О ней мы здесь будем говорить лишь с бесконечной благодарностью и уважением. И если сегодня она уже кажется превзойденной, то такова рано или поздно расплата для всех умственных течений за их плодотворность.

Между тем другие исследователи заняли тогда же совершенно иную позицию. Видя, что историю не втиснуть в рамки физических закономерностей, и добавок испытывая смятение (в котором повинно было их первоначальное образование) перед трудностями, сомнениями, необходимостью снова и снова возвращаться к критике источников, они извлекли из всех этих фактов урок трезвого смирения. Дисциплина, которой они посвятили свой талант, казалась им в конечном счете неспособной к вполне надежным выводам в настоящем и не сулящей больших перспектив в будущем. Они видели в ней не столько подлинно научное знание, сколько некую эстетическую игру или, на худой конец, гигиеническое упражнение, полезное для здоровья духа. Их иногда называли «историками, рассказывающими историю»⁴, — прозвище для нашей

корпорации оскорбительное, ибо в нем суть истории определяется как бы отрицанием ее возможностей. Что касается меня, то я бы нашел более выразительный символ их общности на определенном этапе истории французской мысли.

Любезный и уклончивый Сильвестр Боннар⁵ — если придерживаться тех дат, к которым книга о нем приурочивает его деятельность, — это анахронизм, такой же, как святые античной поры, которых средневековые писатели наивно окрашивали в цвета собственного времени. Сильвестра Боннара (если на миг поверить, что эта вымышленная фигура существовала во плоти), «подлинного» Сильвестра Боннара, родившегося при Первой империи⁶, поколение великих романтических историков могло бы считать своим: он разделил бы их трогательный и плодотворный энтузиазм, их несколько простодушную веру в будущее «философии» истории. Но уйдем от эпохи, к которой мы его отнесли, и вернем его тому времени, когда была сочинена его вымышленная биография. Там он будет достоин занять место патрона, цехового святого целой группы историков, бывших примерно духовными современниками его биографа: добросовестных тружеников, но с несколько коротким дыханием. Как у детей, чьи отцы чрезмерно предавались наслаждениям, на их костях как будто сказала усталость от пышных исторических оргий романтизма; они были склонны принижать себя перед собратьями-учеными и в целом скорее призывали к осторожности, чем к дерзкому порыву. Думаю, не будет слишком злым считать, что их девизом могут служить поразительные слова, которые однажды сорвались с уст человека, весьма, впрочем, острого ума, каким был дорогой мой учитель Шарль Сеньобос⁷: «Задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно». Что и говорить, это не речи хвастуна. Но если бы физики не были так дерзки в своей профессии, много ли достигла бы физика?

Словом, умственная атмосфера нашего времени уже не та. Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, квантовая теория коренным образом изменили то представление о науке, которое еще вчера было всеобщим. Представление это не стало менее высоким — оно сделалось более гибким. На место определенного последние открытия во многих случаях выдвинули бесконечно возможное; на место точно измеримого — понятие вечной относительности меры. Их воздействие сказалось даже на тех людях — я, увы, должен к ним причислить и себя, — кому недостаток способностей или образования позволяет наблюдать лишь издали и как бы опосредствованно за этой великой метаморфозой.

Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неизменные законы повторяемости, может, тем не менее, претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и универсальность — это вопрос степени. Мы

уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того, чтобы существовать — продолжая, конечно, подчиняться основным законам разума, — им не придется отказываться от своей оригинальности или ее стыдиться.

Я бы хотел, чтобы среди историков-профессионалов именно молодые приучились размышлять над этими сомнениями, этими постоянными «покаяниями» нашего ремесла. Это будет для них самым верным путем для того, чтобы, сделав сознательный выбор, подготовиться к разумному направлению своих усилий. Особенно я желал бы, чтобы все больше молодых бралось за историю более широкую и углубленную, судьбу которой мы — а нас с каждым днем все больше — теперь намечаем. Если книга моя этому поможет, я буду думать, что она не вовсе бесполезна. В ней, должен признаться, есть некая доля программы.

Но я пишу не только — и даже не главным образом — для внутреннего цехового употребления. Я не думаю, что следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей просто любознательных. Эти сомнения — наше оправдание. Более того — они придают нашей науке свежесть молодости. Мы не только имеем право требовать по отношению к истории снисходительности, как ко всему начинающемуся. Незавершенное, которое постоянно стремится перерасти себя, обладает для всякого живого ума очарованием не меньшим, чем нечто, успешнейшим образом законченное. Добрый землепашец, сказал Пеги⁸, любит пахать и сеять не меньше, чем собирать жатву.

* * *

Это краткое введение мне хотелось бы заключить личным признанием. Любая наука, взятая изолированно, представляет лишь некий фрагмент всеобщего движения к знанию. Выше я уже имел повод привести этому пример: чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины — пусть самые специальные с виду, — необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые одновременно проявляются в других группах наук. Изучение методов как таковых составляет особую дисциплину, ее специалисты именуют себя философами. На это звание я претендовать не вправе. От подобного пробела в моем первоначальном образовании данный очерк, несомненно, много потеряет как в точности языка, так и в широте кругозора. Могу его рекомендовать лишь таким, каков он есть, т. е. как записи ремесленника, который всегда любил размышлять над своим ежедневным заданием, как блокнот подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком.